

*Посвящается деду Юрию,
бабушкам Раисе и Александре;
деду Василию, которого я не знала;
Вильфриду*

О. Алевтина

— Эх, гады-коммуняки...

Он теряется, потому и вылетает присказка. Дочка Иринка, Иринка-мандаринка, вечно говорит, что это все ни к чему, что нужно себя контролировать, что ли, а то стыдно.

— Ну чего вы там копаетесь? — Работница почты теряет терпение, выглядывает из своего окошка, наклоняется вся. — Паспорт нужен, говорю же, первый раз, что ли?

А руки у нее крепкие, сильные, неженские, с частыми темными пятнышками-веснушками. Он все смотрит на эти руки, а потом наклоняется вниз — сразу что-то загорается в голове, туманится зрение.

— Палочка... — объясняет, — сейчас подниму, погодите. Эх...

Но наклониться не может, не может достать, нащупать в черно-сером месиве снежной каши, какая всегда здесь случается в декабре.

— Вот, на... — Какая-то старушка — он замечает сквозь муть давления — поднимает палочку, вытирает наскоро рукой, подает ему. — Грязнющая она,

правда. Ты руку-то потом помой, как домой придешь. Да и палку вытри.

И отчего-то так кольнуло это, обожгло теплым — *как домой придешь*. Как будто она, вот эта незнакомая смешная старушка со светло-лисым рыжеватым каре, представляет, где у него дом, как он придет туда, поставит свои смешные коричневые чёботы под табуретку в прихожей, а на плиту — чайник.

А еще как будто бы знает, что он теперь дома один. С лета, получается, не привыкнет никак. С июля.

— Спасибо. — Он кивает женщине, она маленькая еще, едва до плеча достает, хотя и он с возрастом сделался ниже ростом, *утоптался*, как говорят.

Забирает пенсию, чувствуя потом спиной, что как-то нечестно будет не дожидаться теперь ее: она подняла, она побеспокоилась, а он что?

И стоит на улице, у выхода, делая вид, что сигареты ищет, хотя никогда не курил. И вот выходит она — быстрая, юркая; не похожая так на жену, какой она была в последние годы (хотя об этом лучше не думать, он пытается). Шура его не виновата ни в чем, и что матом на него, случалось, что он — матом, не виновата.

Гад был, если подумать. Хоть в чем-нибудь обязательно был гад. По мелочам пилил: что газеты не вынула из почтового ящика, что оладьи подгорели.

А эта, юркая, проходит мимо, будто он и не стоит здесь.

— Эй. — Он не уверен, он пробует слова. — Может, провожу тебя? Мерзость вон какая под ногами.

В декабре, и верно, соль, песок и снег смешались, вот он чёботами и месит.

— А тебя самого кто потом проводит?

— Ну ты и проводишь. Я тебя, ты меня. Вот так.

И стесняется, как будто в шестнадцать лет, но если правду сказать — то в шестнадцать лет так не стеснялся.

Потом Иринка спросит: «Папа, господи, вот кого ты нашел, что же тебе в семьдесят лет покоя нет, зачем это нужно?» Он поймет это так — что, мол, в ней такого есть, почему нужно было обратить внимание, хотя она немолодая, неженственная, просто случайная? А вот что: она шустрая, да, шустрая, и так захотелось объяснить, что палочка — случайность, ничего больше, с венами на ногах что-то случилось, но это скоро пройдет, и тогда он станет как она.

А раньше, раньше-то — ух, разное было! И на дачу пешком ходил, нарочно не ездил на электричке, чтобы с бабками, цветами-рассадами, тележками-бутылками не трястись. И ходил, и не уставал.

Это сейчас что-то сделалось.

— Так что, провожать идешь?

Оказывается, что Алевтина — так ее зовут, вроде так звали и врача в детской поликлинике у Иринки, но не вспоминается точно — живет через несколько домов. Он мнется у подъезда.

— Извини, не могу позвать. Никак, — говорит она.

Отнекивается — мол, не напрашивался, а так просто стоял, воздухом дышал, вовсе и не хотел подниматься, что ж, квартир не видел? У него, может, такая же. И все же спрашивает напоследок, перед тем как уйти — снова одному, в квартиру, пустую и страшную:

— А у тебя животные есть дома?

— Нет никого. — Она отворачивается. — Был шпиц, болел сильно. Теперь все.

И ему хочется рассказать об их с Шурой котях, но вроде и неправильно сейчас будет. Их последний совместный кот, беленький, тоже болел. Это никому не хочется вспоминать. Нужно договориться с этой Алевтиной, как бы снова встретиться, — может, она согласится зайти в пустую и темную квартиру, что-то от этого изменится? Но он разучился разговаривать на человеческие легкие темы, обо всем, что не касается *а ты поел, папа, может быть, твой любимый салатик приготовить и давай эти вещи, что от мамы остались, отдадим?* Да он бы вообще все отдал, каждую тряпку, каждое украшение в маленьких шкатулочках с алыми цветами на черном фоне.

— Пыль не вытираешь сам? — Алевтина спрашивает.

Он мотает головой.

— Ну так я зайду к тебе как-нибудь, протру. А то знаю, во что жилье одинокого мужика превращается.

Он кивает. Теперь точно нужно уходить. А когда возвращается домой, садится на табуретку в коридоре, уже и подниматься не хочется. Потому что не совсем правду сказал, кроме вен и палочки, есть кое-что еще. Да и в квартире он не один. Ну, он вначале удивился, понятное дело, испугался даже. Потом смирился, даже обрадовался. Но кому расскажешь?

Не Иринке же и не внучке. Мужчины должны терпеть, не показывать. Вот он и не будет ничего показывать. В целом же все не так плохо, он отлично запомнил номер телефона Алевтины, когда она назвала его перед тем, как зайти в подъезд.

Он звонит через пару недель, когда осточертевшая снежная каша примерзает к дорогам.

В хрустальной вазочке печенье «Юбилейное» и конфеты «Кавказские». Он сходил заранее, принес, постарался пыль вытереть, чтобы Алевтина не подумала, что на самом деле для уборки зовет. Кошачью шерсть мокрыми ладонями с диванов и кресел собрал, а с коврика в прихожей стряхнул кристаллики соли.

— Думала уж, и не позовешь.

— Почему так?

Он добавляет немного кипятка в чайник с готовой заваркой — это называется «поженить», он и на самом деле только у семьи жены такому научился, а дома не делали. Впрочем, он вполне мог не обращать внимания тогда на то, что делали дома. Ведь и дом у него был только до девяти лет, а потом началось страшное, странное.

— Ну зачем тебе. Видела, что к тебе приходят, семейством целым... Дочка?

— Дочка и зять. Правда, он что-то реже стал в последнее время приходить.

— Ну ко мне вообще не ходит невестка. А что — у них семья, сами по себе. Я и не обижаюсь. Еще не хватало, чтобы надо мной тряслись, смотрели, носы потихоньку затыкали. Потому что говорят, что мы теперь и пахнем по-особому, а сами не чувствуем. Тебе не говорили?

— Да нет, какое. Но только дети — одно, а тут совсем другое.

— А я вот на лыжах пристрастилась ходить, представляешь? — вдруг переводит разговор Алевтина.

На ней красная праздничная кофта, хотя Шура говорила, что красный только молодым идем, а лучше

всего — детям. Вечно лежали красные платишки для маленькой Женьки, в целлофане, аккуратно приготовленные к какому-нибудь празднику. Он мотает головой, чтобы остановить воспоминание.

— Ты чего?

— Да ничего. Вот жене год скоро.

Он осекается. Может быть, нельзя.

— Да чего уж там... Понимаю. Сколько жили? Всю жизнь?

Он кивает, сглатывает противный комок в горле. Алевтина вдруг оставляет чашку, протягивает руку и накрывает его ладонь своей. Их руки очень похожи — худые, морщинистые, узловатые, на ее пальцах никаких колец; а Шура всегда носила.

— Да, после техникума сразу. А котов — ты спрашивала — много было. И все белые.

— И сейчас, я смотрю, белый, вон штаны твои все в шерсти, — смеется. — В ванную пошли, почищу. А то что ж так ходить.

Он упрямится, неловко, да и в ванной беспорядок, не подумал: и течет хозяйственное мыло, и мочалки валяются в раковине, преют. Алевтине приходится первой встать, дожидаться его, потом за руку взять и почти силой потащить. Там не обращает внимания ни на что, выкидывает гнилые мочалки в мусор сразу. Раньше ему все мерещилось, что в ванной до сих пор Шурой пахнет, но сейчас цветочные духи Алевтины, какой-то ее не старушечий почти, но женский запах наполняет все.

И она влажной рукой чистит его брюки, а потом и рубашку.

— Гулять завтра пойдем, — говорит она будто о решенном, будто он заранее со всем согласился, —

понимаю, что ноги у тебя болят, а ходить все равно надо, разминаться, покажу тропки. Их песком посыпаят, не оступишься. Мы с палочкой, потихоньку-полегоньку. Да?

Он кивает, хотя и не нужно.

Он звонит ей через неделю, она приходит в смешной короткой теплой куртке.

Звонит еще через неделю, она приходит в вытертой черной дубленке, а потом, по весне, — в непромокаемом бежевом плаще. Они и не заметили, как весна началась.

Он звонит ей на следующий день, а однажды забывает номер телефона — и она, примчавшись в беспокойстве, записывает его на бумажке в коридоре и свое имя на всякий случай. Он смеется — мол, ну чего ты, имя-то я точно не забуду, это просто цифры вылетели из памяти, так бывает, хотя раньше не было.

Еще через месяц он просыпается от странных звуков, садится в кровати, успокаивает себя — ничего страшного не происходит, и хорошо, что Алевтина сама не знает обо всем, и никто не знает, что с каких-то пор у него в квартире поселился *кто-то*, кого, кажется, видит только он один и ровно с тех пор, когда появилась в голове дурацкая мешанина с фактами и цифрами.

— Эй, — шепотом говорит он *кому-то*, — перестань ты. Хватит.

А может быть, это и не он, а он знает что. Мыши будто скребутся, царапаются. Тоже завелись с начала весны. Иринка-мандаринка говорит, что все кажется, что нет никаких мышей, *видишь, папа, их тут просто не может быть, это же не деревенский дом*, но он иногда

не верит. Уже и ему сказал один раз, мол, плохо за домом следишь, раз мыши завелись. Но Иринка при одном упоминании *его* занервничала еще больше, расплакалась, *ты, говорит, папа, лучше поменьше думай о нем, пока ничего плохого не случилось*. И плачет сама. А что может случиться, когда он здесь? И помогает, и вообще. Только говорить об этом нельзя.

Утром звонит Алевтина, она раздражена, несчастна:

— Я тебя возле подъезда ждала, а ветер еще холодный. Ты что же, забыл? Или специально?

— Нет, я правда...

Вот ведь, неужели договаривались? О чем?

Или это память начинает шалить, просто выкидывая неважные кусочки? Он проверяет себя.

Мою дочку зовут Ирина.

Мою внучку зовут Женя.

Мою жену зовут Шура.

Мою жену звали...

Да, он уже много раз говорил Алевтине, как звали жену. Может быть, пора было на этом остановиться.

Мою внучку зовут Женя, мы с ней играли в шахматы, она хорошо запоминала. Сейчас она выросла, а мы перестали играть. Черные или белые, выбирай. Считалось, что лучше черными. Почему?

Же-ня.

Ня-же, нежность, неженка, плавленые сырки «Неженка» и «Омичка», «Омичка» отдает сладостью, отдавал сладостью, теперь нет его, попробуй в магазине купить. Он заходит в универсам «Ленинградский», спрашивает, нарочно выговаривая. «Неженка» и «Омичка», дайте какой-нибудь. Молоденькая

продавщица удивляется. Продавщица постарше удивляется.

Ничем не могут помочь.

Все проваливается, выпадает, как слоги, как буквы. В универсам «Ленинградский» — на самом деле туда? Или в тот новый магазин, который теперь на его месте?

— Прости, пожалуйста, — он выдыхает в трубку, — хотел пораньше встать, собирался, не знаю, что произошло. Ты погуляла?

— А что ж мне, тебя до вечера ждать теперь? Погуляла. Дай хоть зайду днем, обед тебе приготовлю. Ты ведь один? Никто не приедет сегодня?

— Нет, сегодня... У меня внучка в Германию уезжает, представляешь, да? Провожают они ее. Эх.

— А ты почему не провожаешь?

— Да не люблю я. Как-то быстро скучно становится. Одиноко. Лучше газеты читаю, все равно в ящик кидают вон.

— А что она в Германии потеряла? К жениху, что ли?

— Нет... — Теряется, не знает зачем. — К какому жениху? Она же малявка совсем.

— Какая малявка, в восемнадцать?.. Впрочем, вы же по-другому смотрите, вам она всегда ребенок.

— Это кому же?

— Ну, мужчинам.

Наверное, неправда. Но жена бы тоже наверняка спросила про жениха.

И он выдыхает, расслабляется — вот все снова и хорошо, не сделал ничего плохого и страшного, с ним разговаривают, она простила. А Шура могла бы

и кричать, и вещи швырять, и дверью хлопать, и матом ругаться так, что самому горько становилось. И ведь это только поводом всегда было, любая, вот такая мелкая провинность, случайная забывчивость, а на самом деле не из-за того злилась. А из-за того давнего, что он по глупости рассказал. Нужно было молчать, ее одну любить, а он не смог. И ладно бы в жизни — в памяти, Шура была против и его памяти, она ненавидела его память. Но что уж теперь, теперь-то все. Жена теперь на Пятом кладбище, ему тоже скоро, хотя Алевтина велела не думать о таких вещах.

Остается только подождать, когда Алевтина днем придет.

Но вот что он решает — он дверь заранее открывает, чтобы не вышло так, что он звонок в дверь не услышит. А он не слышит, но потом вспоминает почему — сам же перерезал провода после смерти Шуры, потому что совершенно не мог переносить звука звонка. Нормальный был, иногда даже радостный, но от звука раскалывалась голова и хотелось плакать. А ему почти никогда раньше не хотелось плакать.

Он открывает дверь, оставляет щелочку.

И пишет шариковой ручкой на запястье — *Алевтина*, и это будет значить сразу все: и что обещал выйти с ней на улицу, и что ждет на чай, и что нужно купить к чаю рулет с лимонным кремом.

1. Взрыв

— Сабина, где ты?

Они кричат.

— Sabine, wo bist du?

Sabine!

Потом Женя забывается и начинает кричать по-русски: «Сабина, Сабина, мы здесь!» Ветер вдруг швыряет в лицо мусор — она закрывается ладонями, хочет отвернуться. Но когда отворачивается, вдруг странно начинает кружиться голова, словно бы то, что она услышала, ударило слишком больно. Смешно, она вначале подумала, что лопнул воздушный шарик. Но потом звук становится в ушах громче и громче, пока не занимает всю голову целиком — вытеснив песни, мысли, слова.

На Людвиге лица нет. Он тяжело расхаживает из стороны в сторону, неловко двигается с больным коленом — порвался мениск когда-то, думали, что без операции обойдется, но не обошлось. Женя вдруг вспоминает, что дед захромал в последние пару лет, а каково хромать всегда, с самой молодости? Вроде и неважно это сейчас, но мелкие мысли возникают и не проходят, когда страшно.

Людвиг с Женей ищут Сабину. Она была здесь, возле фургончика Currywurst, — они должны были пойти вместе, купить по колбаске, но она почему-то пошла вперед, наверное, чтобы занять очередь: все здесь хотели свежую колбаску с горчицей, на булочке или нет, с кетчупом. Можно было попросить не добавлять кетчуп, если не любишь, но сложно себе представить, как можно — без кетчупа. А теперь всё в кетчупе, в кетчупе и бетонных крошках. Женя смотрит под ноги. Кетчуп размазан по асфальту, его много, слишком много. Какая-то девушка лежит на асфальте, но Жене не хочется смотреть, а кетчуп кажется ни к чему не относящимся, случайным. Она смотрит, конечно, но почти сразу же отворачивается.

Кетчуп на белых кроссовках.

Людвиг, что это? Почему он пятнает подошвы, белоснежную шнуровку, ведь кроссовки куплены позавчера, так ими гордилась, представляла — вот привезу из Германии, все удивятся, будет новая, красивая и модная вещь...

— Беги к домам, быстро, ныряй в переулок, — говорит Людвиг, — я поищу.

Я тоже буду искать, хочет возразить Женя, но слова замирают, оборачиваются снежинками, которых здесь, наверное, не бывает (но она видела только весну). Кого ты здесь хочешь искать? Никого здесь нет, все смешалось, фургончики опрокинулись. Если же набраться храбрости и *посмотреть*, просто посмотреть, получится, что там, возле Currywurst, никого нет больше, будто просто очередь разошлась.

Сабина!

Сабина!

Женя кричит, но себя не слышит.

— Ну все. — Людвиг встряхивает ее за плечи. — Хватит, перестань. Она не придет, даже если услышит. Может быть, она упала.

Женя слышит полицейские сирены.

Какой-то мужчина, наверное, бывший военный, командует: «Медленно отступайте, пригибайте головы, держитесь подальше от припаркованных автомобилей». Он заступает дорогу Людвигу, не дает дальше.

— У меня там жена, понимаешь? — в десятый раз повторяет Людвиг, Женя, конечно, вмешивается: «Пропустите нас, она была там, наверное, там и осталась». И впервые не стесняется своего немецкого, даже не задумывается.

— Сейчас туда не надо идти. — Мужчина хватается Женю за руку, хотя она стоит спокойно, и говорит Людвигу: — Сейчас туда пойдут полицейские, они всех найдут, кто остался. А вы лучше уведите девочку.

Это Женя — девочка, но только она взрослая, почему мужчина говорит так? Хочет разжалобить, усовестить. Словно бы Людвигу нужно о чем-то вспомнить, о чем-то важном, о том, что рядом. Но только мужчина не понимает, что Сабина — его жена, а Женя — и на самом деле просто девочка, она приехала месяц назад, еще толком ничего не успела выучить. И разговаривать умеет только с Людвигом. С потерянной Сабинкой — нет, а сейчас нужно говорить с Сабинкой, хотя бы мысленно, потому что она осталась там, а они с Людвигом теперь далеко, в безопасности.

— Я не могу увести девочку, мне нужно обратно! — Людвиг толкает мужчину.

Женя не видела точно, но вроде бы мужчина покачнулся.

— Эй, вы чего? Вас арестуют сейчас!

Но Людвигу наплевать. Он оставляет Женю, обходит мужчину и бежит. Женя никогда не видела, чтобы он так бегал.

Мужчина плюет себе под ноги и уходит куда-то — наверное, встречать полицию.

А Женя одна, вокруг никого. Наверное, скоро будет третий взрыв. Когда будет третий взрыв, никого не окажется рядом. Что тогда? Вот сейчас произойдет. Вот сейчас.

Но потом в близоруком тумане проступает — снова идет Людвиг, он возвращается, но идет странно медленно, нога за ногу. Дважды он спотыкается — это вполне обычное дело, потому что на чистом асфальте теперь много всякого мусора. Жене даже кажется, что она видела чей-то ботинок, — но, может быть, это всего лишь пластиковый пакет. Или кусок шины.

Это страшно, если кусок шины. Получается, *они* были на машине? А потом она взорвалась? Мысли-рыбки мечутся, не задерживаются.

Это кто с ним, она? Но это не может быть она, у женщины, которую Людвиг ведет за собой, совершенно другое лицо, у нее непривычное лицо странного цвета, какого не бывает.

Когда они подходят ближе, Женя понимает, что у женщины разбиты очки.

У Сабины разбиты очки, и капельки крови проступили, и небольшие ручейки побежали. Она беспрестанно поднимает руки к лицу, пытается вытереть, смахнуть осколки, но становится только хуже — Женя

хочет схватить ее за руку, остановить, уже начинает движение.

Чувствует чьи-то руки на локте — наверное, вернулся тот мужчина, но только зачем ему возвращаться, она же не двинулась с места?

Но это полицейский. Он не улыбается, хотя обычно полицейские здесь улыбаются. Что-то говорит, но с ним тоже нет общего языка. У меня здесь родители, нужно сказать, чтобы позволили остаться? Meine Eltern... Meine Gasteltern... Мои родители, как лучше сказать... начинает она, но все кажется неверным, условным, необратимым. Она имеет право быть здесь. Тут ее родители, и пускай они только месяц родители, но, если нужно солгать, чтобы остаться, она может.

Женя отчего-то подумала: «А что, если бы тут на самом деле были родители?»

В детстве все время думала, что случилось что-то плохое, когда они задерживались. Когда взорвали дом на улице Гурьянова, боялась. Боялась, что в каком-то другом доме непременно окажутся родители, что это их коснется, не может не коснуться. И ее. Когда они не вернутся, а она навсегда останется дома одна.

Женя отходит за полицейским, он ее тащит почти.

И проклинает себя, свои слабые бессмысленные глаза — она ведь точно не убедилась, что Людвиг ведет именно Сабину, может быть, это совсем другая женщина, которую он не хотел там оставлять.

Понимаете, она хочет объяснить полицейскому, я ни за что не могу допустить, чтобы они там остались, а я спаслась. Даже если я спасусь, мне все равно некуда будет пойти. Нет, это звучит странно и цинично, совсем не то хотела сказать.

— Отойдите к машине, вас там осмотрят, хорошо?

— Со мной все в порядке.

— Вы не можете быть в этом уверены, Mädchen. Вам необходимо пройти осмотр.

— Я никуда не пойду без моих родителей.

Полицейский смотрит удивленно, потому что какие родители, если Женя все еще говорит с сильным акцентом, а сейчас и совсем неправильно, с никакой грамматикой?

— Родители сейчас тоже подойдут, вот они, видишь?

Жене казалось, что она видела, как Людвиг ведет Сабину. Но почему они никак не могут прийти, приблизиться? То, что Людвиг предпочел вернуться к жене, — что значит? Почему она одна, почему опять одна?

Женя идет к машине с надписью Rettungsdienst, там встречают, осматривают, хотя она и говорит, что была далеко. О чем-то разговаривают, потом закрывают двери. Машина трогается с места.

— Но я не хочу никуда ехать!

Они пожимают плечами, отвечают что-то — мол, все по правилам, но их язык Жене тоже не совсем понятен. Где же Людвиг, который еще мог бы все объяснить?

— Может быть, мы подождем моих Gasteltern?

Они приедут на другой машине, утешают, но как-то не слишком уверенно. Может быть, они вовсе приедут в другую больницу, Женя знает, что так бывает. Мелькает только дурацкая мысль: «А покрывает ли перевозку в больницу студенческая медицинская страховка? Ведь никто не планировал, что так может произойти».

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru